



Георгий Матвеевич Дерлугьян – профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби

Суверенная бюрократия

Предварительные итоги осмысления явления через 30 лет после начала перестройки

Кто, как и почему оказались обладателями власти в результате распада СССР? Размышления на эту тему подводят к следующему вопросу: какие варианты дальнейшей эволюции просматриваются из нашего времени, уже четверть века спустя после перестроечных надежд на либеральные реформы и отрицания «административно-командной системы»?

С теми или иными оговорками, с разными чувствами, но почти все сегодня согласны с тем, что произошла некая частичная реставрация. Восторжествовали не либеральные интеллигенты и не сталинисты, не местные бароны и не красные директора, не капиталисты и не рабочие, не иностранные корпорации и не вожди националистических движений. Главные источники власти, контролирующие горловины на потоках материальных и статусных об-

менов, оказались в руках высшего персонала постсоветского госаппарата. Одновременно происходит восстановление привычных социальных практик и представлений – от международного статуса государства до социальной иерархии его подданных и соответственных их рангу способов жизнеобеспечения. Иначе говоря, после потрясений как будто восстановился порядок, притом достаточно знакомый. Как всё это корректно описать и осмыслить, не повторяя при этом уже пройденного в перестроечных дебатах?

II

Сразу надо сказать, чем мы заниматься не собираемся.

Во-первых, политической полемикой против возникшего порядка вещей или его апологией. Это вовсе не значит, что мы отказываемся от собственного мнения. Напротив. Без ложной скромности мы вкладываем свою профессиональную гор-



дость ученых, включенных в мировой исследовательский процесс, в формулирование оценок и прогнозов на основе дисциплинированного, логически-последовательного изучения социальной среды. Мы стремимся понять, как возникла социальная экология, в которой на сегодня доминантным видом оказалось суверенное чиновничество (особенно в России), что представляет собой эта элитная группа, как воспринимают они себя и окружающий мир? Что они могут и чего не могут совершить? Каковы, по большому счету, возможности и, еще важнее, ограничители возможностей данной исторической конфигурации?

Предлагаемый нами термин «суверенная бюрократия», конечно, подсказан некогда придуманной Владиславом Сурковым «суверенной демократией». Однако по зрелому размышлению это определение оказалось куда глубже и полезнее пародийного ерничанья. Речь идет об аппарате управления и населяющем его персонале, которые добились независимости как от всяких господствующих классов (последние феодалы ликвидированы столетие назад, личная диктатура преодолена в 1950-х, новейшие претенденты в капиталисты побеждены), так и от нейтрализованной народной демократии вместе с критической интеллигенцией по

Главные источники власти, контролирующие горловины на потоках материальных и статусных обменов, оказались в руках высшего персонала постсоветского госаппарата.

причине ее распада. Данной бюрократии удалось освободиться (особенно в богатой ресурсами России) и от внешнего контроля в форме мягкой силы гегемонии западных норм либо в более прямых формах империалистического диктата. Возникла именно суверенная от всех бюрократия. Во-вторых, мы совершенно не собираемся рассуждать отвлеченно и, как водится, бездоказательно о национальном характере и особых традициях. Суверенная не означает все самобытная. Наверняка найдутся частичные аналогии (все исторические аналогии частичны, поскольку история общественных систем слишком сложна для геометрических параллелей). Мы предполагаем, что сравнительно-исторический анализ может прояснить очень многое насчет наших сегодняшних дел.

Наконец, в-третьих, мы не стремимся создать абстрактную нормативную теорию того, чем должна быть «нормальная», «настоящая» бюрократия (равно как и интеллигенция, демократия или прочие социальные учреждения). Опять же, мы не отказываемся от нормативных суждений о желательном порядке вещей. Такие суждения имеют смысл в научном анализе толь-

ко после подведения итогов изучения социальных явлений. Более того, добросовестная и ответственная наука об обществе должна показывать варианты социального выбора. К этому мы еще придем и сверхзадачи забывать не станем. Но сейчас нам надо определить программу исследования, сформулировать рабочие гипотезы, вытекающие из них вопросы и методы получения ответов на наши вопросы.

III

Прежде всего потребуются базовые рабочие определения, набор инструментов, которые могут пригодиться в работе. Относиться к теориям и предлагаемым ими аналитическим инструментам лучше эвристически, то есть пользоваться до тех пор, пока сохраняется полезность данных инструментов и, при необходимости, их модифицировать и комбинировать. Эта предварительная часть неизбежно перегружается профессиональным жаргоном, в основном для краткости. Но предварительное обсуждение теоретического инструментария совершенно необходимо провести до того, как мы начнем разбирать эмпирическую реальность. Рэндалл Коллинз, который видит социальные науки шире



Гипотеза мир-системного уровня примерно такова: в ядре современной мир-системы ресурсная и инфраструктурная сила капиталистов такова, что они могут обходиться минимальным по размеру, однако изумительно эффективным аппаратом координации во многом за счет организационной силы на местах капиталистических семейств, корпоративных гильдий и Церкви.

и четче большинства из нас, со своим обычным спокойствием утверждает, что мы живем в «золотом веке» исторической макросоциологии. В 1970-е были совершены прорывы в понимании исторической динамики древних обществ и современного капитализма, институциональных условий и нишево-сетевой природы рынков, неформальных экономик, роста (а также распада) современных государств, возникновения революций, мобилизации общественных движений, источников и динамики демократизации. А также в понимании

национализма и этничности, причин коррупции и организованной преступности, в объяснении самого научного и художественного творчества. Наступает, по словам Коллинза, этап более массового научного освоения теоретических прорывов предшествующего поколения и синтеза различных исследовательских направлений. Ведущая линия исследовательского прорыва связана с именами Чарльза Тилли (который продолжил линию историко-социологического объяснения европейской политики норвежца Стейна Рокка-

на), а также Теды Скочпол (в свою очередь, ученицы Баррингтона Мура) и неовеберинцев Джека Голдстоуна и Майкла Манна. Предмет их исследований – формирование современных централизованных бюрократических государств и одновременно общественное сопротивление этому процессу в виде элитных мятежей и народных восстаний, национальных сепаратизмов и фабричных забастовок, оформления массовых партий и социальных революций эпохи Нового времени. Из такого сложного, исторически изменчивого, неоднозначного взаимодействия двух трендов – формирования бюрократической государственности и общественного сопротивления растущей власти государства – в результате и возникают либеральные демократии Запада.

Наряду с мир-системным анализом капитализма это наиболее успешное из новых направлений исторической макросоциологии. В обоих случаях были преодолены канонические схемы либерализма и марксизма, исходившие из типичных для XIX века однолинейных эволюционных представлений о непреложных законах истории. Там, где ранее господствовала идеологическая телеология (в виде стадий модернизации или общественных формаций), где историю вершили абстрактные персонажи и реифицированные принципы (классовая борьба, технический прогресс либо идея свободы), теперь исследуются и картографируются сложные и изменчивые экологические ландшафты. Они наполнены социальными сетями, классами и статусными группами (идентичностями), политическими движениями, государственными учреждениями и капиталистическими организациями и не в последнюю очередь



Рембрандт. Синдики гильдии суконщиков. 1662 год

конкретными людьми, действующими в насыщенном историческом контексте по своему культурно-обусловленному разумению.

Картина перемен в социальных науках усложняется, но и становится рельефнее, если попробовать прочесть под данным углом зрения теоретиков дискурсивно-культурного поворота в социальной науке. К тому же ряду относится, скажем, и прекрасный критический разбор теории модернизации, предложенный Нильсом Гилманом. Культурологическая критика направлена на выявление идеологических основ и дискурсивных практик господствующей парадигмы неоклассической экономики и позитивистского мейнстрима политологии. Тут культурологи добились неоспоримых успехов. Сегодня это отдельный фронт интеллектуального сопротивления, чьи позиции весьма прочны на гуманитарном фланге науки. Вместе с тем на данном направлении противостояние приобрело ха-

Ядро есть зона комфортабельной монополизации рынков, где ресурсов, как правило, достаточно всем крупным участникам рынка и возможно договорное, более цивилизованное поведение.

актер затяжной позиционной войны. Культурологическая критика сильна в обороне своей области знания, но менее эффективна в объяснении материальных структур современного мира. Поэтому экономисты и политологи в большинстве случаев могут попросту игнорировать гуманитарного противника, пользуясь своим подавляющим превосходством институционального контроля над господствующими высотами и главными материальными ресурсами интеллектуального поля.

Вполне возможно, что мостом между историко-социологическими и культурологическими школами может послужить социология Пьера Бурдьё. Этот исключительно влиятельный и энергичный француз двигался своим особым путем и создавал свой

собственный научный язык. Притом Бурдьё был известным забиякой и полемистом. Но даже он сам признавал, что его мысли и поиски двигались в том же направлении, что и историческая социология Чарльза Тилли.

Бурдьё делал очень много для систематического заполнения того места в анализе социальных структур, стратегий социального господства и их соотношения с практиками культуры, которое традиционно занимал марксизм, особенно в его поздней — грамшианской — версии, и либеральные теории, связанные прежде всего с именем Карла Маннгейма. По сути, Бурдьё создавал политическую экономию культуры, понимаемую вовсе не как набор непреходящих ценностей и шедевров искусства, но как поле конкурентно-конфликтных взаимоотно-



Периферия – это зона, откуда ресурсы утекают, поскольку нет силы их удержать, отчего рыночная и политическая конкуренция приобретает жестокий характер вплоть до взаимного уничтожения.

шений по поводу того, что считать ценностями и шедеврами. Школе Бурдые после его смерти в 2002 г. предстоит доказать свою способность развиваться без великого основателя и вождя. Но даже если круг его учеников распался и на какое-то время имя Бурдые окажется непопулярным (прежде всего именно потому, что еще недавно оно казалось таким модным), концепции габитуса, символического капитала и индивидуально-групповых траекторий в социальных полях останутся очень полезным инструментарием в арсенале новой социальной науки.

В научных дисциплинах, которые более удалены от поля власти и занимают относительно маргинальные позиции в современной академической среде – в социальной антропологии и экономиче-

ской географии, – соответственно оказался и больший зазор для свободы теоретического экспериментирования. Сошлюсь на знаковые работы лишь двух видных ученых. Это теоретический археолог Тимоти Эрл, прямой продолжатель эволюционной политической экономии архаических обществ Маршалла Салинса и Элмана Сервиса. Тимоти Эрл применил элегантную версию синтеза концепций Майкла Манна, Пьера Бурдые и миров-экономик Фернана Броделя к объяснению изменчивости структур власти в предгосударственных образованиях (вождествах). При этом брались преднамеренно удаленные друг от друга примеры: древних инков, вождества Скандинавии и Придунайской равнины эпохи бронзового века и Гавайских островов накануне контакта с европей-

цами. У географов сегодня один из наиболее влиятельных теоретиков – англичанин Питер Тэйлор, который отслеживает на протяжении последних веков пространственное измерение современности в эволюции рынков, капиталистических городов и государств.

Теперь рассмотрим более детально, что и как из достижений «золотого века» исторической макросоциологии может пригодиться в нашем анализе.

IV

Для макроуровня можно принять подход «неосмитовских» (скорее, броделевских) неомарксистов – Иммануила Валлерстайна и Джованни Арриги. Они явно не относятся к марксистам более традиционным, которые завязли в споре об относительной автономии государства от буржуазии или, вслед за Мишелем Фуко, склонны психологизировать и до предела экзистенциально расширять понятие власти. Сомнительна и аналитическая

полезность постмодернистской критики. Тем более нам не по пути с эстетизированным неонархизмом Антонио Негри. Однако предстоит всерьез подумать о направлении Роберта Бреннера и Дэвида Харви, которые с 1970-х гг. выступают наиболее последовательными критиками Валлерстайна с позиций классового анализа власти и отрицания мир-системного детерминизма.

Гипотеза мир-системного уровня примерно такова: в ядре современной мир-системы ресурсная и инфраструктурная сила капиталистов такова, что они могут обходиться минимальным по размеру, однако изумительно эффективным аппаратом координации во многом за счет организационной силы на местах капиталистических семейств, корпоративных гильдий и Церкви. Тому примером Нидерланды XVII в., викторианская Британия XIX в., США вплоть до рузвельтовского «Нового курса». Напротив, на периферии государства крайне слабы, поскольку эффективные госструктуры там не просто непомерно дороги, но и потенциально, в случае политической революции, грозят экспроприацией местных элит (Латинская Америка).

Парадокс, что государство подменяется властью элитных семей как в самом центре системы, так и на ее глубокой периферии. Только в ядре капиталистическая олигархия кооперируется и действует заодно, а на периферии олигархии постоянно дробятся и жестоко интригуют друг против друга, по ходу не позволяя оформиться сильной власти, чтобы не подпасть под нее. Это согласуется с общим положением мир-системного анализа о том, что ядро есть зона комфортабельной монополизации рынков, где ресурсов, как правило, достаточно всем крупным участникам рынка

и возможно договорное, более цивилизованное поведение. Периферия же — это зона, откуда ресурсы утекают, поскольку нет силы их удержать, отчего рыночная и политическая конкуренция приобретает жестокий характер вплоть до взаимного уничтожения. Отметим загодя, что здесь возникает очень перспективная возможность перекинуть аналитический мостик к веберянским концепциям неопатримониализма и процессов «оцивилизации»/«расцивилизации» (Норберт Элиас). Наиболее же активистские, классически государственнические бюрократии возникают в промежуточной зоне полупериферии (точнее, на внешнем периметре ядра, в странах типа Германии, Италии, России и Японии), где видится надежда догнать капиталистических лидеров, но приходится группироваться и концентрировать ресурсы, нередко насильственно. Это революции сверху типа бонапартизма и фашизма либо революции снизу — в первую голову ленинизм. Именно там изобретаются диктатуры догоняющего развития.

Преимущество подхода Валлерстайна и Арриги по отношению к теориям модернизации очевидно — их география полей власти преодолевает нормативные абстракции и дает четкую объяснительную классификацию. Недостаток прямо вытекает из достоинств и также давно известен по критике как веберянцев (Скочпол), так и некоторых неомарксистов (Бреннер). Арриги и особенно Валлерстайна занимает макроскопическая панорама, из которой нелегко последовательно перейти к анализу конкретных примеров, вариаций и исключений.

V

Поэтому на среднем уровне наиболее полезны разнооб-

разные неовеберянцы в широком русле Роккана, Скочпол, Лахманна, Голдстоуна, Манна и, конечно, Тилли. Их инструментарий замечательно приспособлен для сравнительного анализа государств и социальных групп в исторической динамике. Из-за большого разнообразия неовеберянцев нелегко сформулировать гипотезу общего охвата. Нам бы пригодилось нечто такого вида: бюрократия исторически возникает как механизм формальной рационализации власти и ее централизации за счет вытеснения/кооптации всевозможных нотаблей-посредников среднего и местного уровня. Но реальный процесс, в отличие от близкого к нормативной идеологии идеального типа, исторически бывает весьма непоследователен, неравномерен в пространстве (мир-системы?) и, более того, как недавно показал Венелин Ганев на материале посткоммунистических стран Восточной Европы, процесс этот еще как обратим вспять. При каких обстоятельствах возникает непоследовательность? Как бюрократия становится самоосознанной статусной группой и как порою теряется этот облик?

Здесь полезно вспомнить о процессе «оцивилизации» Норберта Элиаса. Модель Элиаса также работает вспять, когда происходит «расцивилизация». Эта концепция может нас вывести из давнего спора о классах и статусных группах. В более широком толковании процесс «оцивилизации» помогает ухватить эмпирическую динамику становления самоосознанных статусных групп на основе общности структурного положения, то есть классов. Элиас же перекидывает мостик от веберянской традиции исторического анализа к социологической культурологии и



Если растолковывать и операционализовать понятие капитала при помощи прагматичного подхода Валлерстайна, то капитал – это способ накопления и сохранения успеха, достигнутого вчера, в предшествующих раундах социальной игры, с тем чтобы воспользоваться преимуществом в будущем раунде.

интеракционизму неоджоркгеймианцев Гоффманна, Коллинза и Бурдьё. Здесь мы находим инструменты для описания и аналитического разбора повседневной бытовой реальности элит, как и не-элит, их механизмов распознавания «свой–чужой», а также навыков, ритуалов, «ухваток», которые собирательно составляют предосознанное, дошедшее до автоматизма поведение – тот самый габитус.

Придется хорошенько подумать и о том, как интегрировать сравнительно-исторический вариант новейшего веберизма образца 1970–2000 гг. с тем полезным, что можно вынести из более ранних (конца 1960 гг.) веберизанских дебатов о неопатримониализме в третьем мире. Это прежде всего пронизательные, хотя порою крайне сложно высказанные предположения израильянина Эйзенштадта, впоследствии – французских африканистов Лемаршана и Ме-

дара, индологов супругов Рудольф, наконец, это и корпус знаменитых работ «крестьяновед» Джеймса Скотта начиная с его первой книги о коррупции в Юго-Восточной Азии. Эти исследователи предшествующего поколения пытались преодолеть очевидный тупик теории модернизации, постулировавшей четкую дихотомию между современностью и традиционным обществом. Властные реалии стран Азии и Африки к концу 1960-х гг. явно перестали вписываться в такую идеологическую оппозицию, их «несовременные» элементы не были дисфункциональным пережитком. При этом внешне современные институты – вроде парламентов, правящих партий, правительственных министерств, судов и особенно армии – явно работали по принципам личных патронажных связей, а не формального закона. На Западе эти дискуссии, как водится, не получили

никакого разрешения, а были попросту оставлены и позабыты с приходом моды на транзитологические модели демократизации. Это оказалось шагом назад, по сути вернув политологию к идеологемам теории модернизации. Объективно такой сильнейший откат в науке соответствовал откату бывших соцстран в третий мир. Это вторично поставило Запад в положение благосклонного ментора, указывающего, как подтянуться до его уровня «современности» путем одного лишь заимствования транзакционных технологий для политических и экономических рынков. Поэтому контртеории, возникшие в конце 1960 гг. из кризиса первой волны модернизации/транзитологии, могут показать нам нечто весьма существенное из нашего собственного будущего.

VI

Говоря о социальной группе, правящем классе, элите, мы неизбежно вступаем на минное поле дебатов об определениях. Чтобы не завязнуть в излюбленных препирательствах ученых-обществоведов, модифицируем наши определения при помощи инструментария, разработанного Пьером Бурдьё. Тем более что подход, которым пользовался Бурдьё, выводит нас от макроисторических концепций на конкретно-социологический анализ повседневности.

Элита понимается здесь попросту как группы индивидов, занимающих верхние эшелоны, «командные высоты» тех или иных институтов социальной организации: экономических рынков и предприятий материального производства, политических партий и движений, организационно более или менее оформленных полей символического производства (религия, культура высокая и массо-

вая, наука, журналистика, образование, а также спорт) и, конечно, государственных структур. Всякая элита, если воспользоваться аналитическим орудием Бурдьё, обладает капиталом высокой концентрации, что, собственно, и определяет элиту. Если растолковывать и операционализировать понятие капитала при помощи прагматичного подхода Валлерстайна, то капитал — это способ накопления и сохранения успеха, достигнутого вчера, в предшествующих раундах социальной игры, с тем чтобы воспользоваться преимуществом в будущем раунде. В каждом роде деятельности свои специфические формы капитала. Капиталист превращает результаты успешных — то есть прибыльных — операций в денежные средства, которые затем может инвестировать в новые операции. Это и есть капитал в традиционном понимании.

Для пояснительного контраста: феодальное семейство накапливает права на сбор ренты с крестьян в вооруженной борьбе с соперниками-феодалами (война, усобица, интрига) и с крестьянами и горожанами (подавление восстаний). Феодальные права затем узакониваются в формальных привилегиях и семейной символической репутации (родовитость, легенды о подвигах предков, целомудрии женщин). Тут нередко бывает рациональнее расстаться с деньгами и натуральными доходами (конвертировать экономический капитал), чтобы приобрести военную силу (вооружить, оплачивать, контролировать своих бойцов и охранников), а также внешние признаки элитности (роскошная одежда, оружие, драгоценности, коллекционные предметы искусства, дома, кареты) и подкрепить репутацию щедрого патрона в отношении клиентов, хлебосольного хо-



Михаил Авилов. Опричники. 1916 год

Бюрократия, по идее, не должна быть элитой, тем более властвующей и суверенной. В ранние эпохи это были «слуги государевы». В Новое время, когда легитимный суверенитет переместился от монарха к абстрактному народу и нации, это «общественные служащие». Наивность — или лукавство — таких слов очевидны.

зяина к собратьям по элите и жертвователя на общественные нужды (возведение церквей или, позднее и особенно в США, создание университетов и частных фондов). Возникает типично феодальная смесь юридических и традиционно-символических заявок на элитные права. На самом деле это не столь архаичные, как может показаться, виды инвестирования в престиж и социальное признание. Возьмем для примера «новых русских» образца 1990-х.

Современные формы символического капитала — это всевозможные разновидности престижной репутации (мэтр, знаменитость) в сочетании с формальными дипломами (ученые степени, медали и призы арт-фестивалей или спортивных чемпионатов, промежуточные формы вроде рейтингов популярности среди элитных знатоков и более широкой публики). Как Бурдьё показал на примере

скандала вокруг публикации флорберовской «Госпожи Бовари», формы капитала — вовсе не абстрактно данные категории. Они выделяются в конфликтном процессе создания новых социальных полей (к примеру, профессиональной литературной деятельности, отделения литературы от контроля и Церкви, светских вкусов).

Капиталы (социальные «валюты») основаны прежде всего на взаимном признании участниками данной сферы деятельности правил игры и друг друга в качестве игроков, даже если и противников. Иначе говоря, капитал должен быть прочно укоренен в достаточно емкой социальной сети. Принцип взаимного признания работает как на уровне статусных групп (кого большинство интеллигенции, художников или банкиров признают своим), так и на уровне межгосударственном. Как показал Артур Стин-

чкомб, в современном мире главное условие суверенитета есть признание прочих суверенных государств.

Повторим, ибо важно: всякая форма социального капитала должна быть укоренена, встроена в социальное сообщество со своей историей возникновения, конфликтов, внутренними рангами. Миллион среди дикарей, не знающих денег, равняется нулю. Всё это уже можно изучать: как возникает «валюта» того или иного социального сообщества, какие у нее свойства, какие формы ценнее других, как и когда проводятся обмены «валют» (денег в престиж, ста друзей в сто рублей и, может быть, обратно), как формируется социализованный характер, типический «нрав» (по-научному — габитус) в зависимости от рода деятельности, необходимых и ценимых в данном деле навыков и связанной с ним «валюты».

Кадровый пролетариат, рядовые профессиональные спецы (инженеры, врачи, преподаватели), даже мелкие служащие стремятся и могут, при достаточно стабильных условиях, создавать свои формы символического капитала — признание мастерства, выслуги лет, опыта. А также формальные права (скажем, на пенсии, премии, различную «социалку»), выторговываемые и выбиваемые у начальства в обмен на качественный труд или в ходе забастовок и прочих форм производственных конфликтов. Для постсоветской ситуации важно отметить, что исчезновение стабильности и перенос основных источников власти из сферы производства в сферы обмена резко, даже катастрофично сказался на условиях функционирования подчиненных, малых и распыленных форм капитала, которые вдобавок приобретают эффективность в основном через коллективное

действие и сознание (один в поле не воин, не забастовщик и не политическое движение). Таким образом, элит достаточно много, причем разных. Элитный статус ситуативен, зависит от обстановки, переходя, как любой успех: юный хулиган, верховодящий большим двором, со временем скорее всего делается люмпеном с укороченным сроком жизни, а если повезет, то заурядным пролетарием или ментом. Огромная забота, тревога и доля повседневных практик всех элит состоит именно в поддержании своего элитного статуса, в диверсификации набора активов, в приобретении дополнительных средств, союзников и форм капитала. Соответственно, у всякой успешной элиты мы скорее всего обнаружим не один вид, а целый набор форм капитала и далеко ветвящиеся сети связей с по-разному полезными людьми.

Концепцию капитала не следует доводить до абсурда полного релятивизма. Форм капитала несколько, но далеко не бесконечное множество. Формы капитала соответствуют источникам социальной власти, которых, по инструментальному делению, используемому, скажем, неовеберянцем Майклом Манном, всего четыре: военная, экономическая, культурно-идеологическая и политико-административная. Показательно, что и сам Манн, как и многие теоретики до него, особенно амбивалентен в отношении последнего источника власти. В самом деле, политическая и административная власти — различны или это подвиды способности организовывать и контролировать общественные усилия? А может, административная и политическая функции исторически были едины (в лице вождя, монарха), но позднее разделяются на отдельные ветви — публич-

но-политическую и аппаратно-административную?

VII

Бюрократии должны быть свойственны некие собственные формы капитала и практики его накопления, связанные со специфичным, по нормативной идее совершенно формализованным организационным существованием и объектом распорядительной деятельности. Что это за формы капитала и практики?

С виду бюрократия есть формально организованные служащие, единственным источником доходов которых должна быть должностная зарплата и социальные блага, предоставляемые работодателем по совершенно формальной росписи. Заострим до парадокса: бюрократия теоретически мало чем отличается от кадрового пролетариата и наемных спецов. Бюрократия, по идее, не должна быть элитой, тем более властвующей и суверенной. В ранние эпохи это были «слуги государевы». В Новое время, когда легитимный суверенитет переместился от монарха к абстрактному народу и нации, это «общественные служащие» (*civil* либо *public servants*). Наивность — или лукавство — таких слов очевидны. И все-таки дело куда сложнее, чем лукавство. Бюрократия есть механизм, как всякое орудие предназначенный усиливать физические и умственные возможности человека. В данном случае усиливаются возможности человека не рядового, а правителя.

Первые протобюрократии древности возникали там, где размер территории и подчиненное население в какой-то момент превышали возможности прямого личного управления, то есть вождество перерастало в раннее государство. Именно здесь (а не в идеологии, принципе прогресса или накоплении прибавочного

продукта) кроется главный источник эволюционного перехода на новый уровень организации власти. Возникла непреодолимая потребность передоверить особо рода грамотным слугам сбор податей и хранение царских закромов, подсчет податных сословий и надзор за войском, замещение царя вдали от столицы. В реальности механизм оказался очень проблематичным, дорогостоящим, подверженным постоянным поломкам.

Бюрократия, несмотря на колоссальный потенциал, лишь ограниченно применялась в досовременных государствах в основном из-за своей дороговизны и технической сложности (для начала требуется развитая письменность и рекрутирование кадров, не связанных ни с каким племенем и родом, желательна вообще из чужеземных рабов, воспитываемых сызмальства, как в османской системе девширме). Проще было опираться на всевозможные лично-договорные системы власти вроде феодального вассалитета.

Качественный рост и распространение бюрократических аппаратов по всей планете относятся ко временам завоевательного роста капиталистической мир-системы с центром в Западной Европе. Поэтому столько дебатов о том, что здесь первопричина: капитализм, военная революция, общая рационализация Нового времени — либо некие культурные особенности Запада? Более действенной представляется комплексная модель соэволюции властных организаций, где различные механизмы (капиталистические, военные, легально-политические, административные, идеологические) вступают в восходящую спираль взаимосоуплиения. Очевидно, что сочетание сложное, и потому не стоит удивляться, что случилось ему запуститься в само-



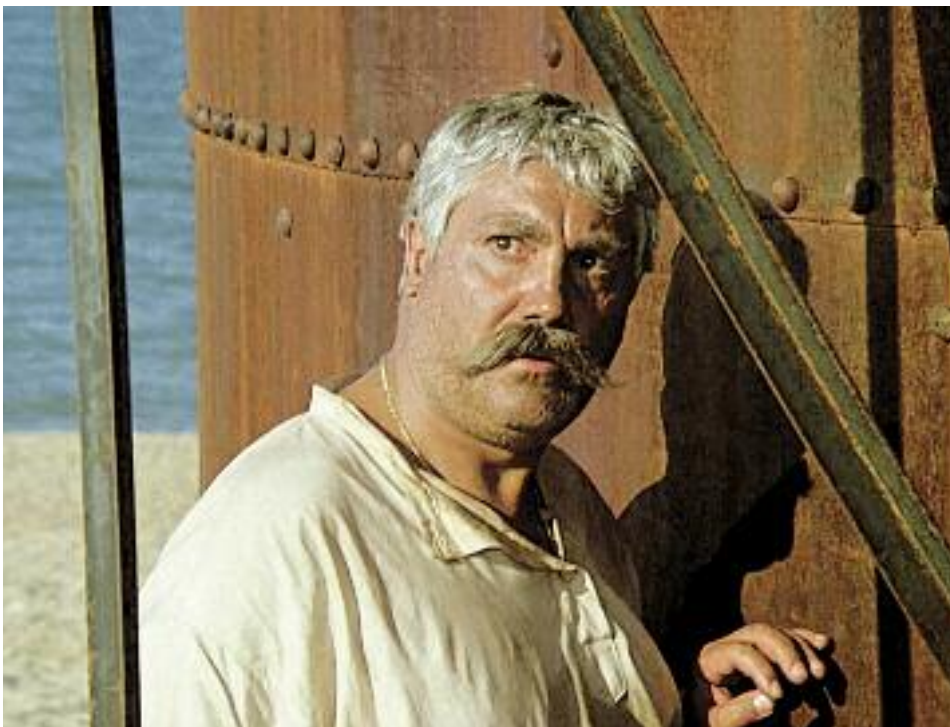
Николаос Гизис. Девширме (невольничий рынок)

Бюрократия, несмотря на колоссальный потенциал, лишь ограниченно применялась в досовременных государствах в основном из-за своей дороговизны и технической сложности (для начала требуется развитая письменность и рекрутирование кадров, не связанных ни с каким племенем и родом, желательна вообще из чужеземных рабов, воспитываемых сызмальства, как в османской системе девширме).

поддерживаемый рост, возможно, лишь однажды и по определенному везению именно в Западной Европе. Что вовсе не означает, будто успех Запада был абсолютно за пределами возможностей других зон мира и его нельзя было скопировать. Россия (как и культурно иная Япония) тому один из наиболее полных и периодически успешных примеров.

Бюрократическую организацию, вопреки представлениям о культурной уникальности, оказалось возможным имитировать в странах, которые исторически не относились к капиталистической колыбели Запада. Это означало распространение бюрократических принципов вширь. Не менее важно, что бюрократическую инновацию можно было распространить на со-

Павел Верещагин (Павел Луспекаев). Кадр и фильма «Белое солнце пустыни». 1969 год



Нормализация бюрократического аппарата требует подчинения его сил большой легитимной задаче, в которую смогут встраиваться личные карьерные амбиции, элементарные интересы самосохранения, предполагающие высокую предсказуемость служебной деятельности, и социализованное самоуважение (по известным формулам «служить бы рад, прислуживаться тошно», «за державу обидно» и пр.).

вершенно новые сферы деятельности, приспособивать для неожиданных целей. Капиталистическая корпорация, акционерное общество суть частная бюрократическая организация, преследующая прибыль. Кто теперь частный хозяин «Дженерал электрик», Стэнфордского университета или злополучно обанкроченного «Энрона»?

Профсоюз или ленинская партия нового типа также есть применение преимуществ бюрократической организации в революционных целях, то есть колоссальный качественный скачок в сравнении с бунтами прошлого. Однако у бунтарей теперь появились и типично бюрократические «заболевания», в особенности тенденция к олигархизации аппарата профессиональных политактивистов, как пред-

сказывали столетие назад Михайский и Михельс.

VIII

Бюрократия не может восприниматься отвлеченно, как некое зло или благо. Бюрократия есть именно механизм, предназначенный для координации общественных ресурсов и усилий. Это крайне сложный, капризный, но и потенциально мощнейший механизм. История его применения на самом деле пока очень недлинная. За вычетом имперских и церковных протобюрократий, с помощью которых управлялись лишь изолированные сегменты досовременных обществ, история бюрократизации насчитывает всего около пары столетий. Более чем паровой двигатель и электричество именно бюрократическая машина произвела беспреце-

дентную трансформацию Нового времени. Современное образование и здравоохранение, транспортная инфраструктура, города, наука – всё это просто не будет работать без какой-то степени бюрократической координации.

Одна из главных проблем третьего мира – нехватка эффективных, инфраструктурно-сильных аппаратов, способных генерировать и распределять общественные блага в виде массового индустриального строительства, здравоохранения, образования, городского транспорта, поддержания порядка. Эти функции лишь частично и с неизбежно высокими политическими издержками берут на себя всевозможные мафии, квартальные банды, религиозные фундаменталистские сообщества, этнические землячества, «бароны трущоб» и сети патронажной зависимости, неомиссионерские благотворительные неправительственные организации, коммерческие структуры и ростовщики, прочие формы люмпенской самоорганизации. Без действенной исполнительной бюрократии невозможна никакая сколь-либо серьезная демократия (во всяком случае, в группах людей численностью свыше деревни). Там, где уже невозможно обойтись личными дружескими и соседскими взаимоотношениями, исполнение общественной воли придется возложить на бюрократический аппарат.

В отличие от механизмов неодушевленных, сколько ни обзывай бюрократов винтиками, на деле они одушевленные существа со вполне осознанным, хотя (и это важно!) подвижным, изменчивым в зависимости от социального контекста спектром личных интересов и групповых предпочтений. Поэтому бюрократическая машина управляется вовсе не инженерно-механи-

чески и даже не кибернетически. (Это распространенное заблуждение теорий управления.) Как бюрократические патологии, так и способы их лечения всегда были и будут видом политической борьбы. На деле это самый сложный из видов политической борьбы, где на кону находится не разовая победа и ни в коем случае не уничтожение противника, а инфраструктурный контроль на долгий срок.

Действенная политическая мобилизация нуждается в моральной идеологии, способной выдвигать общественные ценности и задачи. На самом деле здесь, возможно, и находится точка, в которой пересекаются интересы общества и бюрократической элиты (не говоря уже об основной массе бюрократического персонала на подчиненных должностях). Это — на техническом жаргоне — проблема коллективного действия. Нормализация бюрократического аппарата требует подчинения его сил большой легитимной задаче, в которую смогут встраиваться личные карьерные амбиции, элементарные интересы самосохранения, предполагающие высокую предсказуемость служебной деятельности, и социализованное самоуважение (по известным формулам «служить бы рад, прислуживаться тошно», «за державу обидно» и пр.).

В противном случае без внешней направляющей возникает порочный цикл, также самоусиливающийся, но с негативным вектором. Частные и ведомственные интересы, каждый из которых рационален в узкокорыстном плане, в результате производят коллективно иррациональный результат, подрывается воспроизводство общественных структур, теряются коллективные блага, деградирует материальная и человеческая инфраструктура. Собственно, это

и есть модель упадка СССР. Его аппарат управления избежал в 1960-е гг. от координации деспотической и одновременно смог пресечь возникновение со стороны новых средних слоев образованных специалистов альтернативных форм координации, основанных на политической и рыночной конкурентности. Остальное было по сути уже делом времени.

IX

Литература по государственному развитию, бюрократии и связанным с ними политическим конфликтам практически безбрежна. Нам остается надеяться на синтетическое теоретическое понимание (если пока и не цельную теорию), которое даст нам ориентиры в море зарубежной эмпирики. Кроме того, при всей важности исторического опыта Запада (который, в конце концов, несет основную долю ответственности за возникновение современной мир-системы), следует ожидать, что какие-то другие регионы мира могут нам дать даже больше для сравнительного изучения политических формаций Восточной Европы. Это в первую очередь Турция — по сути пограничный член Восточной Европы и одновременно Ближнего Востока.

Несмотря на завораживающую всех экзотику совершенно иной цивилизации Японии и Китая, а также колоссальную разницу в экономических успехах последних десятилетий, страны бывшего советского блока и особенно Россию все же полезно рассматривать в сравнении с тем, как государства Дальнего Востока реагировали на наступление Запада сто пятьдесят и пятьдесят лет назад. Предполагается, что мы найдем больше аналогий, чем обычно замечается. Конечно, мы выходим тут и на какие-то важные

точки дивергенции. Распад СССР просто неизбежно сравнивали и будут еще сравнивать с рыночным успехом по-прежнему коммунистического Китая. Как показывают недавние работы, уникальной лабораторией для тестирования гипотез об относительной силе государств и поведении правящих элит оказалась Юго-Восточная Азия (с перспективой расширения сравнительно-исторического фокуса на Индию, Иран и арабские страны). В самом деле, почему Сингапур обошел Филиппины, монархический Таиланд разошелся путями с монархической же Японией, а коммунистический Вьетнам так успешно воспользовался военной мощью для успешного выхода на мировые рынки, в то время как военная хунта Бирмы впала в почти северокорейскую изоляцию?

Наконец, как говорят англичане, *last but not least*, надо научиться дифференцированно воспринимать и сам Запад с его пресловутым опытом. Италия не одна страна, а как минимум две или три. Несмотря на сходство климата, Канада не Швеция, а Норвегия, несмотря на сопоставимый размер и мореходные традиции, вовсе не Португалия. Франция прошла совсем иным маршрутом, нежели Испания, игрушечная сегодня Австрия — как и Россия с Турцией — тоже бывшая империя, а британский исторический опыт демократизации трудно привести к общему знаменателю со швейцарским. Вся же Европа даже в сумме не равняется Америке. Еще важнее научиться принимать за эмпирический факт, что демократия на уровне городов вроде гангстерского Чикаго, немытого южного Неаполя или даже чинно-мещанского Бордо скорее может нам помочь прояснить, каким путем двигаются российские регионы. 